

Александр Зорин

Три встречи

Недавно вышедшая книга Хосемария Эскрива «Путь» написана поэтом, хотя автор, наверное, таковым себя не считает. Динамика, ритм, энергия каждой фразы позволяют назвать ее стихом. Называем же мы библейские строки стихами. В «Пути» ощутима поэтика именно библейских Книг — Премудростей, Притч.

А два других моих героя — поэты, как говорится, по определению. Все трое дороги мне, раскрываясь в разных измерениях и культурах.

ПУТЬ БЛАЖЕННОГО ЭСКРИВА

Духовные размышления Блаженного Хосемария Эскрива, собранные им в книгу «Путь» (М.: «Рудомино», 1995), можно отнести к душеспасительному чтению, которое на православном Востоке всегда было популярным и только временно прервалось в Советской России. Сегодня житийная учительская литература пробивается к массовому читателю, как ручеек сквозь искусственную плотину. Святость XX века — еще не написанная страница церковной истории; своих, российских — канонизированных — праведников мы почти не знаем, западных -- и того меньше.

Книга «Путь» впервые издана в Испании в 1934 году и с тех пор переведена на десятки языков. Общий тираж исчисляется миллионами.

Ко мне она попала лет пятнадцать тому назад в виде машинописных листов папиросной бумаги с полуслепым текстом. Это был четвертый или пятый экземпляр. Стоил, между прочим, недорого. Я не расставался с этими листками, надеялся сначала их переплести, а потом нашел преимущество в таком виде — несколько страничек всегда были со мной в дороге, в пути...

Хосемария Эскрива де Балагар родился в 1902 году в Испании, в старинном городке Барбастро. Будучи священником, он основал новое движение христиан «Opus Dei» — «Дело Божье». Цель его — мобилизовать жизнь в миру, устремление к святости через неотступное исполнение долга: профессионального, личного, общественного.

«Дело Божье» опровергает навязчивый стереотип, полагающий, что семья и работа — замкнутый круг, из которого человек в конце концов выпадает, как отстрелянная гильза. Неутомимый подвижник, он напомнил, что общественная и личная жизнь могут стать служением и защитить высшие ценности на пути к бессмертию.

Это движение имеет тысячи последователей во всем мире. Эскрива умер в 1975 году и причислен к лику Блаженных в 1992-м.

Из чего складывается жизнь святого, будь он Сергием Преподобным или Блаженным Августином? Из будничных, каждодневных трудов, которые они совершали перед лицом Божиим. Его присутствие освящало будни, наполняло непреходящим смыслом то, что валется под ногами и течет сквозь пальцы. Нам кажется, что подвижничество — удел избранных великих душ. Эскрива не устает повторять, что оно доступно каждому из малых сих, кто верит в Бога ж и в о г о.

Положение Церкви и на Востоке и на Западе претерпевает кризисные состояния. Массы верующих остаются пассивными приверженцами культа. Унифицированный труд отобрал у человека инициативу и веру в собственное предназначение. Именно к таким, захатым и безынициативным, обращается Эскрива. «Бог шел за тобой, к тебе на работу», — говорит он. Как пришел он к рыбакам, будущим апостолам. Не надо суесться, «срываться с места» в духовных поисках. Не надо искать идеальных обстоятельств, они могут стать таковыми в том месте, где вы сейчас находитесь. Это только потом место может измениться, а может и остаться прежним. Как было с Савлом, который шел в Дамаск истреблять христиан, но после обращения пришел туда в ином качестве, с другими намерениями. «Обрети присутствие Божие и обретешь жизнь сверхъестественную» — вот кредо основателя, Opus Dei.

«Да, глубоко ты пал! — восклицает он, — Что ж, начинай закладывать фундамент там, внизу... Смирись... Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничи-

жит», — подтверждает он свою мысль словами псалмопевца.

Человек небезнадежен в любом состоянии, если он услышит голос Спасителя. Вспомним опять Савла, который на уровне своего падения услышал г о л о с и, обратившись, нашел фундамент «там, внизу». Он смирился не перед обстоятельствами, а перед Всевышним, когда пережил встречу с Ним.

Смирение в нашем языке давно приняло уничижительный оттенок. Эскрива возвращает слову подлинный смысл, укорененный в библейской истории. Смирение — признание своей малости перед Богом, но не перед людьми и событиями. Оно противостоит тщеславию и помогает найти свое место в жизни.

Итак, Эскрива протягивает руку самым немощным, потерявшим или не нашедшим веру в себя: «Неужели ты думаешь, что освящение — на мирское дело? Что к святости призваны одни священники и монахи? Ко всем относятся слова Господа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

<<Научись говорить «нет»>>, — советует он в самом начале «Пути», в главке, посвященной Характеру. Не всякий материал идет на построение личности. Всяядность, нравственная ослабленность — скверные помощники в созидании характера, с которого Эскрива начинает «Путь». Но чувства навыком приучаются к различению добра и зла. Только безошибочно их различая, можно сделать выбор. <<«да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого»>> (Мф. 5,37.)

Эта книга — кладезь бесценных советов. Нам, страдающим от нищеты и имущественного неравенства, болезненно реагирующим на жлобство «новых русских», полезно прочитать о бедности: «Истинный дух бедности не в том, чтобы не иметь, а в том, чтобы не привязываться — в добровольном отказе от власти над вещами.

— Вот почему есть бедные, которые на самом деле богаты. И наоборот».

Это мудрость, почерпнутая из Книги книг и подтвержденная личным опытом. Он использует парафразы, реминисценции, прямые цитаты из Священного писания как обязательные приметы. Ориентиры в той местности, где прокладывается Путь.

Отсыл к каноническому тексту, взаимодействие с ним вдохновили меня на

дерзкий поступок, о котором я скажу ниже.

«Путь» составлен из ступеней, тематически обозначенных: Характер, Руководство, Молитва, Святая чистота, Сердце... — всего сорок шесть ступеней. Последняя — Упорство. Неизвестный переводчик в 1971 году перевел: Настойчивость. Кстати, о разности переводов. Тот первый давний, был неровен: рядом с подлинными откровениями соседствовали изречения тусклые и невнятные. Вовсе не придавали русскости цитаты из Священного писания на церковно-славянском языке. Новый (переводчики Наталья Трауберг и Надежда Муравьева), без сомнения, совершенней, хотя некоторые афоризмы, на мой взгляд, равноценны старым. Ну вот хотя бы это: «Ты действительно хочешь быть святым? — Исполни ежедневный малый долг твой, — делай то, что должен, и будь в том, что делаешь» (1971 год). И то же самое: «Ты вправду хочешь быть святым? — Исполни крохотный долг каждого мгновения. Делай, что должен, и будь в том, что делаешь» (1995 год). Возможно, будущие издатели поместят удачные различия в разделе «варианты». Драгоценны оттенки не только оригинала, но и его интерпретации. Художественный текст, как известно, не переводим буквально.

Эти современные поучения — емкие, афористичные, как стихотворные строки, — близки к дидактической поэзии. Я не боюсь этого определения — в иные времена этот жанр более чем уместен. Разве не плутаем мы сегодня в «духовных прострациях», не умея различить добро и зло, высокое и низменное, красивое и безобразное? Разве не похожи в своих отчаянных блужданиях на тех ниневитян, о ком две с половиной тысячи лет тому назад было сказано, что они не умеют «отличить правой руки от левой»? (Иона, 4.11).

Потребность в такого рода литературе назрела давно. Наши сородичи в поисках духовных наставников сплошь и рядом попадают в «черные дыры». Медиумические гуру разного толка, сектантские проповедники расплодятся сегодня, как никогда. Младостарчество охмуряет неофитов.

Я помню, как в 60-х годах открыл для себя Ницше, прельстившись не столько его философией, сколько поэтикой. Его Заратустра учит жить, излагая советы

весьма красноречиво и поэтично... Но вкоре демонические красоты Ницше стали подаренным другом «Дневник» Жюль Ренара. Ренар тоже дает советы, но иронично и как бы безучастно. Потом я надолго замкнулся в «Цитадели» Экзюпери. Далее «юноше, обдумывающему житье» попали в руки розановские короба с опавшими листьями. И уже, как говорится, в ограде Церкви нашел я для себя Ельчанинова, Эммануэля Мунье, Эскрива...

Почему я поставил их в один ряд? Во-первых, потому, что в такой последовательности пробивался к ним, когда искал «советчика, попутчика, врача...». А во-вторых, — их поучительные книги близки в художественном сопоставлении. Это дискретный стиль — прерывистое, мигающее письмо. Отжатый дневник, как у Жюль Ренара и Ельчанинова, вороха мыслей, кружащихся на расейском ветру, как у Розанова, внутренний диалог, разбитый множеством пауз, как у Эскрива. Паузы дают возможность подумать над сказанным. Оно того стоит... «Да не будет твоя добродетель добродетелью шумною» — это один стих, одна фраза под порядковым номером 410 (Мадрид. 1971 г.). Невозможно не отнестись к себе. Прежде чем перейти к следующей, задумаешься: а твоя добродетель — шумная или не шумная?..

Конечно, Розанов и Эскрива сведены по формальному сходству. По направленности путей они полярны. У одного — круг, петля, у другого — вектор. Но разорванное неровное мышление на заре XX века первым в России запечатлел Розанов. И застоял право на существование портативного искусства. Записывая на ходу — в конке, за нумизматикой, за набивкой табаку, за утренним чаем, он двусмысленно кружит вокруг загадок бытия мелкими пунктирными перебежками. А рискованный испанец идет по прямой — указанной библейскими пророками и Сыном Божиим. К Истине ведет много путей, в том числе окольных. Образованный римлянин Понтий Пилат тоже «искал» истину, стоя перед ней лицом к лицу и в упор ее не видя.

Итак, несколько лет тому назад духовные наставления Эскрива стали моим текстом, как строчки Священного писания, как заученная молитва. И время от времени я невольно пытался придать им свою, авторизованную, форму, пытался переложить некоторые из них на стихи. Опыт подобных переложений существовал

всегда в литературе, тем более в духовной. Как говорил покойный отец Сергей Желудков, автор неизданных у нас по си пору «Литургических записок»: «В церкви все общее».

«Путь» создан не только для медитаций. Но главным образом для того, чтобы пользоваться им в жизни. Несгибаемый нравственный императив, выраженный поразительно смело, — явление редкое в нашей духовности. Не есть ли он то самое мужское начало, без которого вянет мятущаяся славянская душа?.. Кроме того, отточенная мысль, казалось, вызывает к рифме, которой оправдывался Пушкин («Летучей рифмой оперю»), к благозвучному украшению и даже к допустимому излишеству украшений, свойственному нашей литургике и вообще нашему религиозному искусству. Наша эстетика, думал я, может смягчить жесткий западный императив и только тогда принять.

Так или иначе я старался оправдать свои попытки войти в канонический текст, который был для меня больше чем литература, был примером жизни.

Если дела хороши и ничто
Нам не мешает жить,
Будем рапаться и за то
Господа благодарить.

Если не хороши ничуть,
Будем же, стертые в золу,
За испытанье, за крестный путь
Господу петь хвалу.

Однажды в юности Хосе-мария увидел на снегу следы босых ног нищенствующего монаха. Юноша подумал: «Если другие идут на такие жертвы из любви к Богу, то неужели я ничего не могу предложить Ему в знак своей любви?»

И предложил Ему свою жизнь.

Эта книга — как припорошенная снегом дорога, на которой четко различим путеводительный след Святого.

«ДЫШУ И ПОЮ — ВОПРЕКИ»

Уку Мазинг — последний поэт, которого я переводил в Эстонии. Именно в Эстонии, счастливо уединившись в одном из укромных и опрятных уголков Таллинна. Из окошка моего был виден Длинный Герман с развевающимся национальным флагом. Флаг только недавно подняли. Еще, наверное, не выходи

слезы на глазах у тех, кто, стоя на площади, видел, как он впервые поднимается на такую высоту. Мазинг не дожид до этого знаменательного часа, в наступлении которого не сомневался, потому что был человек осведомленный — знал, как распадаются империи. Течение необратимого процесса вершилось повсеместно, в том числе в Тарту, где он жил и работал.

Мазинг — сложный поэт. Его необозримая образованность, древние культуры Востока, сквозь которые он процеживает современность, словарь, выходящий за пределы эстонского, эзотерический недемократичный строй мышления ставили передо мной задачу трудную и притягательную одновременно. Во-первых, чем труднее, тем интереснее. Это мой принцип. А во-вторых, при всей их сложности, в стихах брезжило знакомое мироощущение. А именно чувство целостности бытия, религиозное чувство, выдающее истинного поэта.

Он был ученый-востоковед, теолог — магистр богословия. Библия и древние семитские языки были его специальностью. Это обстоятельство повлияло на меня окончательно, а кроме того, и сама жизнь — уединенная, подвижническая жизнь ученого-поэта.

Но прежде, чем остановиться на некоторых темах его поэзии, я позволю себе сделать маленькое отступление в область поэтического перевода, которому сам отдал немало лет.

Я всегда полагал, что поэтический перевод — дело частное, если не сказать интимное. Касающееся прежде всего двоих персон. Наши классики в прошлом столетии не всегда уведомляли читателя об авторе стихотворения, которое они переплагиали на русский. Отношение к авторству было иным, чем сегодня. Никто не обвинял их в плагиате. Идеологическая машина «победившего» социализма поставила перевод на промышленную основу, и он получил незаслуженно широкое признание. Известные мастера предостерегали молодых коллег от соблазна этого «высокого искусства», как называл его Горней Чуковский. По любви или по расчету выбирал переводчик себе партнера, брак все равно получался искусственным. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку — нельзя на двух языках адекватно передать один и тот же смысл. Не удавалось это даже переводившему себя Набокову. Мы знаем, как мучилась задавленная глыбами

подстрочников, Цветаева, как «гнал» строку Пастернак (вырабатывал дневную норму: переводить медленнее — нерентабельно). Арсений Александрович Тарковский не раз при мне вспоминал совет Ахматовой: если есть на что жить, не переводите. Разумеется, жить было не на что. И высокое искусство достигло в нашей стране высочайшего уровня версификации.

Переводчиками не рождаются. Ими становятся те, кто от природы наделен поэтическим даром и не нашел возможности его реализовать. Поэтический перевод стал обширной областью внутренней эмиграции, куда уходили прироченные поэты и в силу своих личных качеств либо оставались там навсегда, либо возвращались в родные пределы, как это случилось с Тарковским, с Липкиным...

Нигде в мире не переводят поэзию так, как переводилась она на русский. Требовалось передать не только дух и содержание произведения, но и саму поэтику. Сизифов труд, санкционированный деятелями от культуры. Впрочем, это тема отдельной статьи, которую я написал когда-то, используя опыт выдающихся мастеров перевода. Статья называлась «Бурлаки на Волге». Ключья от нее, под другим, конечно, названием, склеенные компромиссными выводами редактора, появились в «Литературном обозрении» лет десять тому назад.

И все же я хотел бы поклониться поэтическому переводу, который не только душил таланты. Особенно из числа тех, кто не злоупотреблял соблазнительным заработком и, благодаря переводу, не терял мастерства, а может быть, и совершенствовал его. Тот же Чуковский жаловался, что не писал бы, не имея верного заказчика, редакции, где бы его работу ценили. Талант нуждается в поощрении, только тогда он и растет. И поэтический перевод бывал именно таким стимулом — в какой-то мере надежным и творческим.

Поклониться я хочу и Эстонии за то, что послала мне — в самом начале — автора, не допускающего отклонений от буквального перевода. И хотя такое понимание поэзии представляется мне абсурдным, я признаю, что для меня оно оказалось благотворным. Упаковать замысел в прокрустово ложе формы — заслуга иллюзиониста, не более того. Но «ловкость рук» нужна и художнику, создающему новую реальность.

Итак, за ремесло, даровавшее толику радости и свободы, за стесненность условий, сжимающих талант, как пружину, за монбланы вариантов, канувших в Лету, я благодарю эстонских поэтов, доверившихся мне. Последним, повторяю, был Уку Мазинг. Но с ним я знакомился заочно... Он умер в 1985 году в Тарту, в возрасте 76 лет.

Как поэт он не был знаменит. Русский читатель не знал его вовсе. Книги стихотворений выходили, но — за границей и были малодоступны. Но он не тяготился безвестностью и, наверное, не чувствовал себя покинутым, изучая фольклор народов мира. У него было достаточно собеседников, оставивших свои письма на санскрите, на древнегреческом, на финикийском, на арамейском...

Более всего мне был интересен библийский диапазон в его творчестве — реминисценции, мотивы, заимствованные из Книги книг. Художник может позволить себе относительную вольность в обращении с известным именем, сюжетом. Извлеченные из контекста, они попадают в поле новых символов и ассоциаций. Но и от прежних не освобождаются полностью, проросшие в многовековую культуру. Так, мельдающие нити корневой системы невозможно вместе с корнем извлечь из почвы. Некоторые сюжеты в Библии сами приключались из глубинных слоев фольклора, сами подверглись художественной интерпретации. Например, книга пророка Ионы. В ней заключено древнее сказание, мифос, где исторические данные использовались автором в поучительных целях. Я не вижу кошмара в том, чтобы, например, евангельский сюжет передать в современном антураже. Так поступали великие живописцы — Джотто, Брейгель... Они писали Христа на фоне их жизни, их пейзажа, их города. Тем самым приобщали вечности то мимолетное и драгоценное, свидетелями чего они оказались. Существует, однако, мнение, воспевающее подобную трансплантацию, мнение раблезинов и воинственных. Его адепты некогда вдохновляли иконоборчество, а сегодня так же яростно выступают против изображения Христа на экране, в театре...

Уку Мазинг не из их числа. Он верен Духу священного текста, а не букве. Потому мне мил его вовсе не свирепый Самсон из стихотворения «И все-таки тот кто хотели». Мастерски переведен-

ное Светланой Самсоной, оно не свободно от некоторых загадочных темнот. Но, как я уже говорил, они в стиле Мазинга. Здесь скорее свирепеет Далила, съевшая выколотые глаза Самсона. Тощая, выжатая своими детьми старуха. Но суть поэтической версии не в злоумышлении любовников. А в той непреходящей, вновь и вновь прорастающей сквозь земную природу силе, которую раньше овеществляли волосы назорея, а теперь заросли душистого донника. Самсон давно нет, его перемололо время — мельница в Гаазе. Не исключено, что героя с таким именем и вообще не существовало. Но была и есть могущественная сила, не оставляющая нашу земную юдолю.

Здесь уместно вспомнить схожий сюжет из славянского эпоса. (Таковые есть и в кельтском, и в индийском). У Кошеля — Бессмертного! — источник силы (жизни) находится вовне: в яйце, в иголке. Как будто зло не отождествляется с источником жизненной силы. А Самсон заступник, национальный герой, вся сила в нем, хотя и уязвима, — стихийно прорывая наружу.

Но я отвлекся. Правда, в направлении, которое мне задал Мазинг. Настоящее искусство всегда недоговаривает, всегда захватывает воображение, призывая к сотворчеству.

Так, «Вестник из Магеллановых облаков» позволил мне представить эле различимую туманность в Южном полушарии небесного свода, которую, кстати сказать, кроме как на карте, я никогда не видел. Но это так, для подсветки. В стихотворении никаких туманностей нет. Оно простое и не нагружено специфическими реалиями, как иные стихотворения, переводя которые мне пришлось полагаться по справочникам и словарям. Нет, я не намерен объяснять стихи, автор тоже не делал этого. Но понять в них свое — попытаюсь. Свое — потому что сближение возможно только по линии общедоступного. Чем больше своего мы находим в человеке, тем он доступнее и роднее. Стихи, еще не переведенные, окликнувшие одной строкой, намекнули на то, что самому бесконечно дорого. Остановили строчки:

Смерть у меня на языке, в моем
дыхании...

Но я отрицаю ее,
Дышу и пою — вопреки...

Но ведь это лейтмотив и моей жизни, а не только пришельца из иной галактики. За много веков до рождения Того, кто победил смерть, библейский пророк Осия возвестил:

От власти ада Я искуплю их,
от смерти избавлю их.
Смерть! где твоё жало?
ад! где твоя победа?

Осия 13, 14

Дело не в том, что Мазинг знал эти слова, — мало ли знающих! — он верил в то, что смерть преодолима, как пропасть, над которой его поднимает мелодия жизни. В каком-то из стихотворений он с горечью скажет, сомневаясь в реальности видимого: «Что смерти ждать... Да разве это смерть!»

Его двойник — элстер эго — точнее всего обозначен в стихотворении «К пределам». Личность, понимающая все с полуслова, интеллект и высота духа которой приближает казимые веками пределы нормальной жизни. Да, нормальной, потому что знать и верить — норма для человека, созданного Творцом по Своему подобию. Бряд ли Мазинг сомневался в том, что на смену вульгарным гуманистическим теориям, извратившим сознание масс и популярным в XX веке, приходит иная эпоха — эпоха христианского гуманизма. На смену обезличенному обществу — общество персоналистическое.

Личностное неповторимо. Оно из арсенала нравственных качеств, которых не всегда бывает достаточно в человеке. Вспоминаются слова Александра Блока: «Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты: но она-то и делает похожими отца и сына». Поэтому, если есть черта, роднящая нас с Отцом небесным, она должна быть идеальной.

Почему же личностное неповторимо? Не потому ли, что Бог с помощью человека намерен доvollотить мироздание? Ему нужны помощники, функции которых различны в различных аспектах бытия... Грубо говоря, в нашем общем с Ним домостроительстве нужны различные специалисты.

Личность немислима без специальных знаний и навыков любимого дела, в практических границах которого она развивается. Личность, кроме всего, обладает профессиональными качествами. Ничто не исчезает бесследно. Всякий предмет имеет отношение к вечнос-

ти, проектируется в идеальных измерениях. Профессиональный навык учитывает эту проекцию и всегда работает на уровне устойчивых вечных понятий. Чего бы он ни создал: мебель, поэму или новое человеческое общество. О таком работнике Мазинг и говорит, «что на него снизошла благодать».

Русские и эстонцы, мы вступили в новую фазу отношений между собою. Взаимодействие культур начнется — да уже и началось — по совершенно другим каналам, свободным от каверзных шлюзов. Истинно ценное — и в искусстве, и в науке — должно быть общим достоянием. Только так разнoplаменное человечество оmeнивается опытом. Между прочим, эстонцы первые из иноязычных соседей перевели «Архипелаг» Солженицына. России есть чем поделиться — особенно в духовном на-коплении. Дожили Мазинг до наших дней, он наверняка перeвался бы уникальному семитомному словарю по Библиологии, составленному Александром Менем. И кто знает, может быть, и пожалел бы, что он еще не переведен на эстонский...

СВЕТ КОПЕИНОЙ ЗВЕЗДЫ

Лев Смирнов многим читателям известен как переводчик с украинского. Но с некоторых пор услуги профессиональных переводчиков нашим близлежащим национальным литературам стали вроде бы не нужны... Возможно, это пауза временная... Так или иначе, воспользуемся ею и поговорим об оригинальном поэте, который мало издается, много пишет и уже давно никого не переводит.

«И ласточка в землю вонзилась копьем» — драма жизни запечатлена в одной строке с мгновенностью магнито-вой вспышки. Трепещущая, сверкающая высь несовместима с незыблемой твердью. Небо не соприкасается, а сталкивается с землей. Предощущение удара — нерв поэзии Льва Смирнова. В его мировосприятии небо с землей не уживается, они противоположны, как полярные начала. Так это на самом деле или не так — вопрос открытый. С ним можно не согласиться, но поэт вправе утверждать свое мировосприятие, быть предельно искренним на сегодняшний день. Может быть, завтрашний продиктует ему

иное видение, и это не будет самообманом. Льва Толстого однажды упрекнули в том, что он противоречив, вчера встал противное тому, что говорит сегодня. На что Толстой лаконично возразил, мол, я не воробей, чтобы чирикать всю жизнь одно и то же. В этой мнимой противоречивости заложена динамика развивающейся личности, кредо большого художника.

Льву Смирнову не грозит мировоззренческий догматизм и монотонность стиля. Нерв его поэзии обнаженно реагирует на события в меняющемся мире, где истина, взыская покаянного слова, мечется и не находит себе места (стихотворение «Истина»). Ее метания непонятны и даже абсурдны, ее по-разному воспринимают люди, большинство сомневается в ней, меньшинство — составляет право на существование: «Все может быть...»

Ее сила не только в том, чтобы человек признался в содеянном грехе или нечестивом помысле, не только в саморазоблачении, но и в том, чтобы с надругом говорить без оговорок, чтобы вещи называть своими именами, не путаться в их назначении. Истинного положения вещей взыскует мятежная душа поэта. И радуется всякому точному наименованию. Не зря же Творец доверит человеку дать имя каждой твари. Судя по малости, казалось бы, пустяк, а мир изменился — потопу бели небеса и запели птицы оттого, что «дурак был назван дураком», что плуток наконец-то изобличен (стихотворение «В древнем городе...»).

Поэзия Льва Смирнова разнонаправлена. Он умеет видеть предмет одновременно с разных точек. В таком взгляде нет преднамеренности и нравоучительной натяжки. Просто он глубоко зондирует видимый мир и, доставая до дна, остается на высоте обобщений.

Характерно в этом смысле стихотворение «Жернова». Мельничный быт с колоритными деталями встает во многих стихотворениях. Присутствует и в этом. Но помимо пшеничного буса и отесанных круглых камней — бытовой заземленный план — здесь же неотделимо присутствует план возвышенный, надмирный. Сферическая Вселенная — это тоже жернова, перемалывающие в муку нашу земную юдоль. Красивое сравнение, но не в нем суть, ибо лежит на поверхности. Поэту недостаточно эффектной метафоры. Ему мало знать, что пожирющие жернова тоже будут в свое время пожраны. Он внутренне не согла-

сен с этим троном. Его знак вопроса подводит к утвеждению, которое он будто бы стесняется высказать: не все достается всепожирающей смерти, есть ценности — ей не по зубам. И он хочет их знать, должен их знать, не удовлетворяясь малым знанием.

Ночь глядит в мое лицо...

Каменное колесо

С деревянной рукояткой —

Неужели это все,

Что узнал я в жизни краткой?

Не всё, конечно...

Он, например, узнал, что «человек пришел в этот дольний мир // не затем, чтоб вить на звезду в ночи». Это сказано с выстраданной определенностью. Здесь нет сомнения.

Участь человека сопряжена с радостью и откровением. В природном мире она — уникальна. Она стебель, по которому бессмертная душа «лишь из глаз человеческих к небу // может рваться с упорством таким». Но столкновение, по мнению поэта, двух миров — дольного и горнего — неизбежно. Те же глаза, которые ищут истину, натыкаются на бездушие и немоту. И тогда их захлестывает обида. ЗА ЧТО? Не всегдашнее русское интеллигентское «что делать?», а итоговое «ЗА ЧТО?». Бесчисленные странники, слепцы и пророки (стихотворение «Эти странные люди»), которыми когда-то изобиловала Русь, — они тоже задавались этим вопросом. Сгинувшие в веках и в лесных чащобах, они и сейчас нашептывают его поэту:

И когда я пишу эти странные строки,
Мне диктует их кто-то из них.

Русская культура, национальные истоки всерьез питают поэзию Льва Смирнова. Он не кичится этим, не ставит себе в заслугу то, что досталось ему по наследству. Эта естественная преемственность сказывается в языке, в исторических пристрастиях, в определенной духовности. Его палитра в этом смысле не уступает суриковской. И хотя он не пишет развернутых полотен, многие стихи пронизаны светом минувшего, светом — неистребимым из генетической и культурной памяти.

Исторический сюжет используют иногда, чтобы наполнить новейшим содержанием, непреходящим смыслом. Таковы, например, «Зодчие» Дмитрия Кедрина или ро-

весть Андрея Платонова «Елифанские шлюзы». Этим приемом Лев Смирнов не пользуется. Многие события, мысли и даже настроения, им переданные, как бы имеют историческую перспективу. Он не видит предмета, не понимает быстротекущей жизни без ее связи с прошлым. Отсюда некоторая архаичность лексики, предпочтение многосложных — повествовательных — размеров.

Его биографию и родословную можно воспроизвести по его книгам. Я так и сделал. А потом сравнил свои представления, задав поэту несколько вопросов.

Родился в Твери. Предки по матери — тверские. Мать, между прочим, жила в селе Завидове — на родине Спиридона Дрохокина. Куда в начале века приезжал в гости к русскому поэту Райнер Мария Рильке. Предки по отцу — карелы. Обрусевшие в последнем поколении. Отец закончил Тимирязевскую академию и в 30-х годах, в пору широкой коллективизации и первых репрессий, переехал с семьей из Москвы в глушь, в родную Карелию. Там действительно в те годы было потише, чем в средней полосе России, где ему предстояло трудиться на колхозной ниве. Спокойнее, темнота и света поменьше. Карелийская лампа — редкость, атрибут была сельского интеллигента. Запах деревянных лагов запомнится на всю жизнь. Запах земляного пола, муки, испеченного хлеба, овчинного тулупа, стойкий запах огня, запаха тепла, уют которого не нарушали даже полчища тараканов. Запахи деревенского детства не вытравимы из памяти никакими химическими средствами, никакими аэрозолями.

А в конце 30-х годов и в Карелию добрался новый порядок. Отец был человеком прямым и непослушным — пришлось снова ретироваться, на этот раз в подмосковный захолустный Серпухов.

Итак, детство — окраина Москвы (проезд Соломенной сторожки), Карелия, Серпухов — подарило будущему поэту кроме остроты впечатлений нерасменную русскую речь.

А дальше — война, эвакуация. На открытой барже плыли две недели по Оке, потом по Волге до города Балцера (ныне Красноармейск). Две недели холода, палубной тесноты и недетского ужаса перед пикирующими «меосерхмитами».

Города и села немцев Поволжья к этому времени уже были пугающе пусты. Занимай любую избу, еще не остыв-

шую от прежних хозяев. Под золой в печи теплились угольки...

В первый год учиться не пришлось. Работали на токах, выгребали из-под снега брошенную коноплю. А потом, каждое лето, ходил в подпасах. Бескрайние заволжские степи. Закаты. Звонящий простор... Зов Азии...

Юрист по образованию, Лев Смирнов десять лет прожил в Киеве. Здесь он определился как поэт, обрел первых читателей, учителей, среди которых всегда различал голос внимательного Николая Ушакова. Здесь он освоил украинский язык — бесценные залежи для поэта, чей словарь уже сложился на основе северного диалекта и просторечия русской провинции. В Киеве он много переводил. Постиг в совершенстве это лукавое ремесло, ставшее впоследствии его главной профессией.

Профессиональный перевод в чрезмерных количествах не может не влиять на оригинальное творчество. Поэт, вынужденный жить переводом, по слову Ахматовой, «ест свой язык». Рациональное мастерство переводчика оказывает порой коварную услугу поэту. Строфа бывает сделана, что называется, добротная, сработана, а не свободно написана. Мастерство версификатора имитирует — в какой-то момент — искусство чуждого языка. Какое неотступное задание! Но, счастливо, так строф немного.

Большая — жизнь подкупающих открытий, — щемлящая — неопределенностью.

Шел я полем — и в душу мою
холодом от погоды тянуло...

Жизнь неотделима от смерти. Но уравнивать их в духе толстовского постулата «жизнь есть смерть» Смирнов не намерен. В его последних книгах ошущима тревога за смертельно раненную жизнь, за попорченную природу — и человеческую в том числе, — за инфантильное своеволие «технического прогресса», о котором подумалось с горькой иронией:

Ведь у нас никаких повседневных
трагедий.

Только атомный гриб впереди.

Примечательны стихи (например, «Зыбка золотая»), где брезжит прошлое, сказочное, пасторальное. Где с «колдовскою бородой» дед — сам себе и Бог и царь. Готов прислушаться к нашему

шумному времени, а мы — хотели бы найти с ним, с предком, общий язык.

Самосад он достает и свой ясень узнает
И свою калитку...

Но качнулся небосвод:

и меж нами самолет

Разрывает нитку.

Лев Смирнов верен себе: нет предела столкновениям и разрывам. Родство близких душ, живших когда-то и ныне живущих, прервано, как нить, соединявшая небо и землю.

Беззащитность души — это не слабость характера. Может быть, сила поэта в предельной беззащитности. Может быть, нашему бронированному, вооруженно-

му, сверх меры XX веку не хватает беззащитности? — осторожно спрашивает поэт. Трудно, конечно, в грохоте будней услышать однозначный ответ. Трудно в себя поверить, скованного внезапной немотой. Трудно поверить в отзывчивость Космоса.

Я плачу, я молю....

А космос — как болото...

Но немоту мою.

Ведь слышит,

слышит кто-то?!

Этот полувопрос-полуответ — явная попытка поверить в Его отзывчивость, сокровенное желание, поддержанное усилием воли.

Aleksandr Zorin describe en este artículo, que titula "Tres encuentros", sus impresiones sobre la lectura de tres escritores a quienes describe como poetas. Uno es San Josemaría Escrivá (Beato, pues el artículo es de 1998), Uku Mazing y Lev Smirnov. Contiene el artículo tres secciones principales que el autor dedica a cada uno de estos autores.

Sus impresiones sobre Escrivá son impresionantes. Cuenta como hace ya muchos años compró, y a precio no barato, hojas de la traducción de Camino al ruso, mecanografiadas y con letras borrosas. Piensa que su copia posiblemente era la del quinto papel de calco. Se entusiasmó con el contenido. En un principio pensó encuadernar aquellas hojas, pero después consideró las ventajas de mantenerlas separadas y así se las llevaba en sus viajes. Las leía cada día y siempre sacaba provecho de su lectura.

Es poesía la de Josemaría Escrivá como son poesía los Salmos o el libro de la Sabiduría. Zorin afirma que Camino se ha escrito no sólo para la meditación. Es un libro que se ha escrito para que se utilice en la vida...

En algún momento quiso adaptar la traducción y convertirla en poesía. Pensaba Zorin que así la estética oriental ablandaría el rigor del imperativo occidental y así aceptaríamos lo que se nos dice en Camino.

Un comentario de **Esteban Santiago**, enviado el 22 de agosto de 2005.

Conocí a Aleksandr Zorin en Moscú, a comienzos de los años 90. Me contó esta misma historia y me mostró con emoción las hojas de Camino que conservaba como un tesoro. Y me habló de su deseo de hacer esa traducción poética de Camino. Me dijo que el imperativo le sonaba un poco duro. Cuando me comentó esto le comenté que también en castellano sonaba fuerte el imperativo y que posiblemente Josemaría Escrivá quería que así llegase la fuerza de sus palabras al alma de sus lectores.

Después volví a encontrarme con Zorin en Roma en el 2002 con ocasión del Congreso que se celebró allí en aquella fecha como preparación para la Canonización.

Aleksandr Zorin Tres encuentros

No hace mucho acaba de publicarse un libro de Josemaría Escrivá "Camino", escrito por un poeta, aunque el autor, con toda seguridad, no se considere a sí mismo como tal. La dinámica, el ritmo, la energía de cada frase permiten que cada una de éstas se califique como poesía. Llamemos poesía los pasajes de la Biblia. En "Camino" se percibe la poética de los libros bíblicos, La Sabiduría, Los Salmos.

Y dos héroes amigos míos –poetas, como se dice, por definición. Y los tres me son muy queridos y describen en distinta medida diversas culturas..

CAMINO. DEL BEATO ESCRIVÁ

Las consideraciones espirituales del beato José María Escrivá coleccionadas por él en el libro *Camino* (Rudomino, 1995), pueden llevar a la lectura espiritual, que aún en el oriente ortodoxo son populares, y sólo temporalmente se interrumpió en la Rusia soviética. Hoy en día, la literatura biográfica es leída con ansiedad masivamente por los lectores a través de una prosa artística. La santidad del siglo 20 es una página todavía no escrita de la Historia de la Iglesia; En un mundo en que no conocemos a los santos rusos canonizados y mucho menos aún a los occidentales.

El libro *Camino* se editó por primera vez en España en 1934 y desde entonces se ha traducido a docenas de idiomas aún. La tirada se cuenta ya por millones.

En una ocasión cayó en mis manos hace ahora unos 15 años con el aspecto de hojas de papel fino y un texto casi ilegible, el cuatro de enero, la quinta copia del ejemplar. Entre otras cosas debo decir que no me costó barato. 9 ó 10 de esas hojas en un principio pensaba encuadernarlas, pero después considere que era ventajoso mantener las en ese aspecto unas cuantas páginas siempre le acompañaban en el camino.

José María Escrivá de Balaguer nació en España el año 1902 en la vieja ciudad de Barbastro. Siendo ya sacerdote fundó el Opus Dei, la Obra de Dios, un nuevo movimiento cristiano para movilizar la vida en el mundo, un camino hacia la santidad a través del cumplimiento de de los intereses habituales: profesionales, personales, sociales.

La obra de Dios echa por tierra el estereotipo inoportuno que supone que la familia y el trabajo son un núcleo cerrado del que a fin de cuentas el hombre salta como una funda vacía.

Luchador incansable, nos ha recordado como el que nuestra vida personal y social nos pueden servir en medio para defender elevados valores hacia la inmortalidad.

Este movimiento tiene hoy millares de seguidores en todo el mundo. Escrivá murió en 1975 y ha sido beatificado en 1992.